



#### Собеседник

Шелковский Игорь Сергеевич

#### Ведущий

Споров Дмитрий Борисович

#### Дата записи

Беседа записана 19 марта 2013 и опубликована 25 июля 2013.

#### Введение

Первая беседа с художником Игорем Шелковским посвящена трагической истории расстрела отца и отправке в лагерь матери. Сам художник свои первые месяцы жизни провел в камере. Мама вернулась через восемь лет и, не имея права жить в Москве, поселилась в Малоярославце. Детство и юность Шелковского прошли в доме на Старой площади (сейчас это административное здание), рядом шли парады, арестовывали соседей, зэка строили неудавшуюся высотку в Зарядье. В соседней комнате жила семья Беллы Ахмадулиной, а в Малоярославце их соседкой была мать Юлия Кима. Так, в рассказе детская история превращается в историю страны, гражданскую и культурную; проступают забытые картины голода и жуткой бедности сталинских лет. Машин было мало, но Москва-река уже была грязная, после смерти Сталина люди на улицах говорили о приближающемся нападении американцев, а молодой художник впервые соприкасался с живописью и красотой мира.

**Дмитрий Борисович Споров:** Опишите сейчас вашу самую раннюю жизнь и семью, из которой вы произошли.

**Игорь Сергеевич Шелковский:** Отец мой был редактором Оренбургской газеты, газета называлась «Оренбургская коммуна». Это была краевая газета, крупная большая газета на весь Оренбургский край. Как он туда попал? Он работал, как мне рассказывала мать, третьим секретарем в газете «Комсомольская правда» в Москве.

**Д.С.:** То есть он, вообще, литератор?

**И.Ш.:** Журналист. Причем, он рано остался без родителей. Его отец был священник, но он утонул.

**Д.С.:** А фамилия Шелковский?

**И.Ш.:** Нет, Колесниченко.

**Д.С.:** Отца?

**И.Ш.:** Да. Причем я не знаю, откуда эта фамилия, украинская фамилия, но он жил в России, и его отец жил в России, [в городе Камышине] на Волге. Отец рано стал сиротой и, как Горький, «свои университеты» там проходил.

**Д.С.:** А он — оренбуржец?

**И.Ш.:** Нет-нет, родился на Волге, потом переехал в Смоленск, там познакомился с моей матерью, потом — в Москву и здесь уже работал в газете «Комсомольская правда», и в 30-е годы, где-то в начале 30-х его послали в Оренбург укреплять местную элиту, то есть послали работать в этой провинциальной газете. Там он был главным редактором, и, как главный редактор, он как бы входил в руководящую верхушку: начальник военного округа, первый секретарь [крайкома]... Ему тогда было тридцать два года, и у него уже была машина с шофером. В общем, он там был ответственный человек.

**Д.С.:** А по образованию он кто? Было образование или нет?

**И.Ш.:** Я просто не знаю этого. Я очень жалею, что пока была жива моя мать, я не расспрашивал ее. У меня такое впечатление, что он занимался самообразованием, и на послереволюционной волне он как-то поднялся и начал делать карьеру. Он много читал. Это мне тоже мать рассказывала.

Дело в том, что в 37-м году, в сентябре, за два месяца до моего рождения, его арестовали. Больше его моя мать не видела, только одну записку передал следователь от отца и часы, которые до сих пор у меня хранятся, швейцарские часы [«Мозер»], ничего особенного, но тогда-то ручные часы были редкость.

**Д.С.:** Причину знаете ареста? И, видимо, смертного приговора?

**И.Ш.:** Вот сравнительно недавно, несколько лет назад, я написал в Оренбургское... как это называется?.. КГБ... ФСБ, и мне прислали копию протокола заседания.

**Д.С.:** И что оказалось?



Диана Воуба. Игорь Шелковский, 2012 год

**И.Ш.:** Он «пытался восстановить капитализм в России», «организовал какую-то троцкистскую группу». Но это формальные совершенно фразы... И он был приговорен к расстрелу.

**Д.С.:** 37-й?

**И.Ш.:** Да. Хотя матери этого не сказали, а как всем тогда сообщали...

**Д.С.:** Десять лет без права переписки.

**И.Ш.:**... Десять лет без права переписки, да. Вот она получила его последнюю предсмертную записку: «Береги нашего ребенка», и следовательно передал часы. А когда его арестовывали, то после этого сделали обыск и в квартире... всё увезли, увезли мебель... Особенно жалко было книги, потому что у него была очень большая библиотека. Как мать рассказывала, книг тогда не хватало, и для всех начальствующих персон были книжные пайки, то есть то, что печаталось небольшим тиражом, им рассылалось, могли купить это. И все это конфисковали. Несколько мешков книг увезли, то есть ссыпали все в какие-то мешки и увезли.

Мать была беременна, ей дали родить, ее только много раз вызывали на допросы.

”

Не знаю, отсюда или нет, но когда женщина беременна, что-то, наверное, передается ребенку. Я всю жизнь терпеть не могу официальные кабинеты, начальников, любых. Даже если я иду к тому, кто ко мне благоволит, и ничего страшного не должно произойти, у меня и страх, и какое-то очень неприятное чувство — идти в какой-то начальственный кабинет.

Ну, вот, как только мать родила, ее сразу же забрали.

Д.С.: Как «сразу же», прямо сразу?

И.Ш.: Через несколько дней, да.

Д.С.: Через несколько дней?!

И.Ш.: Да. И отвезли в какую-то тюрьму, но не в самом Оренбурге, а где-то в области, за сто километров. Это все, что я помню, собственно, а помню я... по рассказам матери.

Д.С.: Знаете даже, а не помните.

И.Ш.: Ну вот, знаю по рассказам матери. Ее отвезли в тюрьму и она много месяцев сидела в одиночной камере и кормила грудью ребенка, то есть меня.

Д.С.: (Удивленно). Так вы вместе были?

И.Ш.: Да-да, вместе. А не с кем было оставить.

Д.С.: То есть вы сидели первые месяцы своей жизни в камере?

И.Ш.: Да, я начал свою жизнь с отсидивания в тюрьме.

”

Потом приехала какая-то проверочная комиссия в эту тюрьму и обнаружила, что даже в нарушение советских законов кормящая мать сидит в одиночной камере. Но помочь ничем не могли, просто записали: «Улучшить условия содержания».

И ей стали выдавать четверть сырой свеклы [в качестве витаминов] и чайник кипятку [для гигиенических нужд].

Потом ее отправили в лагерь как члена семьи изменника родины — Мордовская АССР, поселок Явас. Я с детства запомнил этот адрес, потому что переписка шла по этому адресу.

Д.С.: А вы были с ней?

И.Ш.: Да, я был с ней. Меня определили в ясли при лагере. Там была большая смертность этих лагерных детей, и мать списалась с моей бабушкой. А бабушка — это ее приемная мать. У матери тоже такая судьба, что все ее родители умерли, то есть [ее] мать и отец, умерли от тифа в начале Первой мировой войны. Она сама из Белоруссии — город Молодечно. И вот когда родители умерли, то остались четыре сестры, сироты. И всех их куда-то распределили, кто-то взял на воспитание, и мою мать удочерила эта моя бабушка — ее приемная мать.

И вот бабушка срочно поехала в лагерь, там оформила все документы, и взяла меня в Москву. Она жила в Москве, сначала около Каляевской где-то...

## Переезд в Москву к приемной бабушке

Д.С.: А сколько вам тогда было?

И.Ш.: Какие-то месяцы или полгода, может, то есть это где-то 38-й год примерно, 39-й. Она меня увезла в Москву, потом ей дали комнату по другому адресу, и с тех пор, двадцать пять лет, я жил на Старой площади, дом 10/4, квартира 31. До сих пор все это помню наизусть. Старая площадь знаете где?

Д.С.: Ну, конечно.

И.Ш.: Там серый дом большой — ЦК партии, потом зеленый, в стиле модерн — это МК партии, а потом такой маленький Никитников переулок — и наш дом был последним. Сейчас он тоже...

Д.С.: Администрация.

И.Ш.: ...в администрации у Путина. А был нормальный [жилой] дом с коммунальными квартирами. У нас там, по-моему, пятнадцать семей жило по коридору. Когда-то это была гостиница «Восток». Там коридорная система и номера... Окна у нас выходили во двор колодцем. Правда, это был последний этаж, так что солнце иногда появлялось. Там я прожил с бабушкой всю войну, и после, до двадцати пяти лет я там жил. Потом мать вернулась из лагерей.

Д.С.: Через сколько лет?

И.Ш.: Через восемь. Ровно восемь лет она отсидела, от звонка до звонка что называется.

Д.С.: С ума сойти! А то, что маму арестовали, это следствие того, что отцу были предъявлены какие-то обвинения или автоматом?

И.Ш.: Это автоматически, да.

” Если кого-то арестовывали, тем более с расстрелом (десять лет без права переписки), то арестовывали семью: то есть жену — обязательно, если взрослый ребенок — тоже, ну а маленьких... меня вот выпустили из тюрьмы.

А [Петр] Якир провел все детство по лагерям.

Д.С.: Ну да. А потом уже мама рассказывала вам об обстоятельствах ареста, что этому предшествовало, почему, как она жила в лагере — вот ту жизнь, которую вы не видели?

И.Ш.: Что-то рассказывала.

Д.С.: А что именно?

И.Ш.: Я очень жалею, что так мало ее спрашивал. Вот про отца — она считала, что он абсолютно ни в чем невиновен, что, возможно, из его окружения кто-то в чем-то грешен... Ну, как все думали: «Наш случай исключительный, мы абсолютно невиновны, а там, может быть, да». Единственное, что она ставила отцу в вину, что он, возможно, был слишком искренен со своими сослуживцами, что, наверно, надо было как-то оградиться и не разговаривать на какие-то темы... Ведь тогда же сажали не то что за что...

Д.С.: Понятно. Ни за что, так просто.

И.Ш.: Ни за что, просто вы обсуждаете что-то... не важно, ваша позиция может быть совершенно...

Д.С.: Толерантна.

**И.Ш.:** ...прогосударственная, но если вы говорите на эту тему, вы — враг народа, потому что на эти темы говорить нельзя.

Там же арестовали не только моего отца, арестовали всю верхушку, то есть первого секретаря, начальника военного округа, начальника НКВД тогдашнего. Перед этим туда приехал Жданов, и он вынес решение, что надо провести чистку по всей Оренбургской области. И вот провели эту чистку и вместе с отцом всю элиту тогдашнюю арестовали. А их места заняли их заместители. И мать говорит, что эти заместители на всех партсобраниях, по радио — везде выступали и клеймили, что этот «негодяй Колесниченко» (и другие фамилии) заслуживают расстрела. Ну, как Вышинский: «Собаке — собачья смерть». Но самое-то трагичное в том, что прошел год, и в 38-м сделали вторую чистку, и их тоже всех посадили и расстреляли.

Про лагерь мне мать тоже что-то рассказывала... Была переписка, она имела право на какое-то количество писем в течение какого-то срока, и письма все-таки шли.

”  
**Причем, письма проверялись цензурой, и цензура вычеркивала какие-то слова и фразы. И эти чернила, они очень походили на... вот как на спичках боковая коробка такая шершавая, шершавые коричневые линии там были, пятна.**

И однажды плохо было зачеркнуто, и бабушка ухитрилась прочитать, что там, под этим зачеркиванием, было написано. Там было написано, что около барака она посадила маленький огород, достала семена лука где-то и посадила. Они же все были без витаминов — цинга... Потом этих писем накопилась большая пачка, и, к сожалению, мать все это уничтожила.

**Д.С.:** Почему?

**И.Ш.:** Когда она вернулась из лагеря.

**Д.С.:** Страх?

**И.Ш.:** Нет, не страх. Ей психологически полностью хотелось отключиться, забыть этот период. Она считала, что это — недоразумение в ее жизни, печальное недоразумение, то есть она ничего не поняла. Она так считала: ну, просто беда такая. Вот как человек попадает под машину, и она попала под эту «государственную машину» без всякой вины, без всего. Но это — дело случая.

**Д.С.:** Но в системе она не разочаровалась?

**И.Ш.:** Нет, она считала, что все нормально. Она восстановилась в партии, она пошла работать.

**Д.С.:** Она была реабилитирована, видимо, сразу?

**И.Ш.:** Да, реабилитирована. Это все уже после XX съезда, 56-й год. Когда она вернулась из лагеря, то она не имела права жить в Москве — сто один километр. Она жила в Малоярославце. Там мы познакомились с Юлием Кимом, потому что его мать точно в такой же ситуации была. И, как потом оказалось, там полгорода было реабилитированных, то есть еще не реабилитированных, а...

**Д.С.:** Не реабилитированных, а «минусовиков».

**И.Ш.:** ...тех, кто вернулся. Сто первый километр...

**Д.С.:** Ну, точно так же было и в Александрове.

**И.Ш.:** И в Тарусе, по-моему.

**Д.С.:** В Тарусе, еще Дмитров... Ну, в общем, все, кто сто километров или около того, все города.

**И.Ш.:** Мать вернулась. Это 46-й год был, осень, где-то в конце года, бабушка ушла в магазин, закрыла меня,

а я слышу какой-то стук, а открыть не могу. Говорю: «Подождите». Бабушка потом вернулась, я слышу какие-то восклицания, радость. Потом открывает бабушка дверь, входит какая-то женщина... Бабушка: «Да это твоя мама!» Я как-то... (*Задумавшись*.)

**Д.С.:** Убежали куда-то?

**И.Ш.:** Я не то, что убежал, я как-то... негативно это воспринял: я буду зависеть еще от какого-то человека. Что значит мама? Как это изменит мою жизнь?

**Д.С.:** А вам, кстати говоря, в детстве говорили, где ваша мама?

**И.Ш.:** Да, вот меня бабушка, например, вела в парикмахерскую стричься, там обычно парикмахер или какая-нибудь женщина начинала: «Ой, какой хороший мальчик! А где твои мама с папой?!»

” Мне было велено отвечать: «Папы у меня нет, а мама живет в другом городе». Я так всем стандартно и отвечал.

И причем мне это не казалось каким-то...

**Д.С.:** Парадоксом.

**И.Ш.:** Да, ненормальным. Я думал, что все так... Вот я как это объясняю: если, допустим, родился ребенок с одной ногой, у него отняли одну ногу в детстве, и он не видит никаких других детей, с двумя ногами, вокруг себя, он думает, что так и надо, что и все так же. И я так думал, примерно. Кстати и потом, когда я пошел в школу, там больше, чем полкласса, было без отцов. И потом уже, мы собираемся (шестьдесят лет, по-моему, больше уже прошло, как мы кончили школу), мы собираемся все еще в этом же классе, сидим, приносим водку, вино и бутерброды... И еще [живы и приходят] учителя... Правда, из двоих учителей одна уже, учительница литературы, умерла, а учитель математики, по фамилии Шноль (у него брат — известный ученый — Шноль)...



Игорь Шелковский. Город, 2008 год

**Д.С.:** Симон Эльевич.

И.Ш.: Вот.

Д.С.: А этого как зовут?

И.Ш.: Эммануил Эльевич. Вот он с нами тоже сидит, старенький уже.

Так вот, оказалось, что в нашем классе на войне почти никто из отцов не погиб, а посидели чуть ли не у полкласса, отцы, или сидели, или расстреляны, одним словом, были репрессированы.

Д.С.: А это какая школа, где? Там, в Китай-городе, и школ-то было...

И.Ш.: Сейчас скажу, тогда номер был 327, Большой Вузовский переулок, сейчас это Трехсвятительский переулок. Знаете? Это между Солянкой и Покровкой.

Д.С.: А, знаю. Даже школу знаю эту.

И.Ш.: Это очень хорошая школа по зданию, по конструкции, потому что это была гимназия в царские времена еще, то есть очень добротные высокие классы...

Д.С.: Подождите, это не та, где Боткинская... дом-то большой на углу? Трехсвятительский, он углом идет, нет?

И.Ш.: Нет. От Покровки он идет.

Д.С.: А, Трехсвятительский — это где синагога...

И.Ш.: Нет, это где церковь, во дворе нашей школы была баптистская церковь. И там мы, когда еще свет был внутри этой церкви, читали: «Бог есть любовь», только обратными буквами. Там, напротив, Торфяной институт был, большое тоже, казенное здание. А школа была с большими классами, большими кабинетами: кабинет физический, химический, большой спортивный зал; а главное, что на крыше был тир. И мы каждую неделю ходили туда стрелять. Это удовольствие было большое — стрелять в мишени, кто сколько набрал очков.

Д.С.: Я вас немножко отвлек. Значит, мама ничего и не рассказывала о лагере?

И.Ш.: Ну, что-то рассказывала...

” Она рассказывала, что в этом лагере был цвет интеллигенции 30-х годов: там были лучшие актрисы из театра Мейерхольда, из других театров, там были лучшие зубные врачи, литераторы какие-то, журналистки.

Это женский лагерь, и они так организовали свое производство (они там шили ватники для армии), что у них там был очень дружный коллектив, как семья. Там не было уголовников.

Д.С.: А, только ЧСИРовки, да?

И.Ш.: Да. В общем, по ее рассказам, это было место исключительное. Там были художницы, и те, у кого были дети, просили этих художниц что-то нарисовать. К Новому году я получал рисунок [цветными карандашами]: елка, дед мороз стоит, снегурочка. Причем очень профессионально было сделано, как иллюстрации в книгах детских. Я это все хранил... Я не придавал значения [их исчезновению], я бы отговорил мать... Но я сам тогда еще был маленький, и я тоже тогда был устремлен в будущее, прошлое мне тоже хотелось совершенно забыть.

Д.С.: Но, вы это не воспринимали как трагедию, да?

И.Ш.: Нет, нет, у меня не было никакой обозленности на советскую власть. Я стал антисоветчиком где-то



лет в пятнадцать. Вот смерть Сталина, [и] я вдруг увидел всю эту ложь, ложь, ложь. Первое, что меня поразило, я помню... Ну, пионерская дружина, как в каждой школе, председатель совета отрядов, который линейки проводит, с речами выступал — вот такой же парень, как все мы, ему тоже пятнадцать, в белой рубашке с красным галстуком. А потом, значит, заскакивает в уборную и начинает со всеми курить: «Ребята, дайте [папироску]...», то есть ложь, во всем ложь обычная. Ложь в газетах. Я как-то начал ко всему относиться критически.

**Д.С.:** А у мамы была какая-то профессия?

**И.Ш.:** Она окончила техникум по дошкольному воспитанию, то есть она была специалист по детским садам, яслям... При отце она работала просто как его помощница и возглавляла какой-то там комитет жен ответственных работников. В общем, какой-то общественной деятельностью она занималась. А после лагеря она уехала в Малоярославец, там сначала работала на швейной фабрике, тоже шили какие-то шинели или что-то вроде этого, а потом устроилась в детский сад ночным сторожем. И мы там жили... она снимали угол, и причем очень много углов поменялось, пока она не нашла, где можно было жить.

**Д.С.:** А вы жили в Москве?

**И.Ш.:** Да, я с бабушкой жил в Москве.

Угол — это просто [в доме] живут люди, занавеской отгораживают [часть], [ставят] топчан, и живут [те], кто снимают. Ну, за деньги, конечно, снимался этот угол. Когда она приехала... Я жил с бабушкой и учился в Москве, но как только каникулы, с первых дней каникул, летних, зимних, весенних, я садился на поезд и ехал в Малоярославец. И все каникулы проводил с ней, особенно летние — три месяца.

**Д.С.:** Ну, и как-то мама становилась вам близким человеком, постепенно, да?

**И.Ш.:** Постепенно, да, но все-таки бабушка эмоционально была ближе. К матери я все-таки относился как-то по-другому...

**Д.С.:** А это сохранилось на всю жизнь?

**И.Ш.:** Да, сохранилось, и это очень травмировало мать, что я вот не ласкаюсь с ней, тогда как к бабушке я мог ласкаться, а с матерью была какая-то отчужденность, то есть я был вежлив, почтителен, но не было такого физического контакта. Мать, когда приехала из лагеря, первые дни находилась у нас тайно, потому что [наш] дом рядом с МК и ЦК партии... Если бы узнали...

Да, вот я подумал сейчас, что ошибся, ведь она не осенью приехала, а приехала весной, потому что она говорила, что ее отпустили из лагеря, но ничем не обеспечили ее выезд оттуда, и она шла пешком, а была весна, разлив, и она разувалась и босыми ногами шла по талому снегу, переходила какие-то реки, ручьи — в общем, ей надо было добраться до поезда.

**”** И когда она вернулась из лагеря, то она совсем была без зубов, (цинга, зубы выпали). Она была опухшая, из-за плохого питания, голода у нее все ноги, руки распухли, было такое белое тело.

Я помню, как садился у ее ног, нажимал пальцем, и после этого оставались ямки. Меня это забавляло: я делал эти ямки и смотрел. Потом они проходили, но сначала очень долго держались, на коленках, на ногах такие ямки. Вся седея!

**Д.С.:** Сколько лет ей было?

**И.Ш.:** Сорок лет с небольшим. То есть она вернулась старухой. Потом она как-то вставила зубы, но потеря здоровья была колоссальная. Недаром они там и болели все и умирали рано...

**Д.С.:** А мама тоже рано умерла?

**И.Ш.:** Нет, она умерла в семьдесят лет. Да, и вот она приехала к нам, потому что ей больше некуда было ехать, но это было нелегально. И если бы кто-то из соседей настучал, что она у нас, то ее могли бы опять арестовать и еще куда-нибудь отправить. Тем более, у нас был режимный дом, нас контролировали, у подъезда все время топтуны ходили, регулярно участковый приходил в квартиру и проверял все. Она дня два-три прожила у нас в комнате, а потом уехала в Малоярославец. Там уже кто-то из знакомых был. И там она работала потом многие годы в детском саду ночным сторожем. Она приходила к концу смены, когда разбирали детей, принимала все хозяйство, и за ночь ей надо было начистить несколько ведер картошки и натопить все печи. Это был большой дореволюционный дом, особняк в три этажа, деревянный, там было несколько печей, их надо было натопить. Я ей потом помогал, как мог: мы вместе пилили дрова, потом я их колот (очень любил колоть дрова) и носить эти дрова топить печи. Но зато была какая-то еда, потому что что-то оставалось от детей: картошка, фасоль или еще что-то, и она меня кормила.

Там жуткий был голод.

**Д.С.:** 46-й?

**И.Ш.:** Самый страшный 47-й был год. Все было по карточкам. Я помню, я вставал, еще до школы шел на Солянку (там была булочная, сейчас там какой-то другой магазин), вставал в очередь хлеб покупать по карточкам. А потом, в Малоярославце, тоже каждое лето с этими карточками... У нас с матерью было полкило черного хлеба на двоих. Причем, если сейчас что-то режут в булочных — просто на глазок режут пополам, а тогда все это тщательно взвешивали, и были довесочки в пять грамм, три грамма, клали сверху довесочки, чтобы точно весы совпали. И мне разрешалось эти довесочки съесть.



**Хлеб я должен был принести. Я жутко был голодный, просто исходил слюной, но нес хлеб, потому что надо было... но довесочки я имел право съесть по дороге.**

В Малоярославце я жил как все местные дети. Первый раз, я помню, приехал, и меня что-то задрознили, потому что я сильно отличался от всех: был в длинных штанах и в ботинках, хоть и в рваных, но, все-таки в ботинках. А все местные целое лето ходили босиком, все лето, причем невзирая на погоду, на холод. Я потом тоже привык, и все лето ходил босиком и в трусиках, в майке, потом в рубашке. И, причем, если в первые дни очень кололись подошвы, то к концу лета кожа становилась такой толстой и грубой, что я мог даже около железнодорожной станции ходить, не испытывая никакой боли, хотя там шлак, везде шлак, очень острый шлак. Малоярославец — это была крупная железнодорожная станция. Там было большое депо, и я очень часто развлекался тем, что просто туда убежал и сидел где-нибудь и смотрел, как маневрируют паровозы, какие-то составы приходят, как паровозы их поворачивают и куда-то увозят. Было очень интересно. Вообще-то, паровоз — это зрелище очень живописное: идет дым, пар, звуки какие-то, когда пар спускают, стук колес... Я знал все марки этих паровозов. Кстати, самый большой паровоз был не «Иосиф Сталин», а «ФД» — «Феликс Дзержинский». Он для товарных составов предназначался. Нацепляли много-много вагонов и вот этот большой «ФД» пар выпускал... там был большой тендер с углем, кочегар кидал уголь лопатой и видно было все. Это были зрелища моего детства. Я с удовольствием проводил время на станции.

**Д.С.:** А когда мама смогла вернуться в Москву?

**И.Ш.:** После XX съезда.



Игорь Шелковский. Без названия.

**Д. С.:** То есть она десять лет жила в Малоярославце?

**И. Ш.:** Да, в 56-м году. Причем, ее сначала не реабилитировали, а амнистировали. По этой амнистии она уже могла приехать в Москву. Потом она подала заявление и сначала пришла справка о ее реабилитации, потом пришла справка о реабилитации отца. Причем, дата смерти отца была фальсифицирована: там было написано, по-моему, 42-й год, «умер от...»

**Д. С.:** Воспалении легких?

**И. Ш.:** «...сердечной недостаточности». У меня она где-то есть.

**Д. С.:** А в тех документах, что вам отдали, там что?

**И. Ш.:** 37-й год. Расстрелян на следующий же день после «тройки». Это «тройка» подписала.

**Д. С.:** А сколько он сидел вот от того момента, когда вам часы передали?

**И. Ш.:** Три месяца. Часы передавал — это уже последний был [знак]. Его арестовали в сентябре, а расстреляли в [конце января].

**Д. С.:** А мама понимала, что папу расстреляли?

**И. Ш.:** Нет, ничего не знала. Потом сказали, но... она не знала ничего.

Мама так и не вышла замуж потом, она все свои силы на мне сосредоточила, надо меня растить, кормить, питать... Я потом из-за нее стал вегетарианцем.

**Д. С.:** А почему вегетарианцем?

**И. Ш.:** А потому что она считала, что у нее была такая несчастная жизнь, она голодала, а я должен ни в чем не испытывать недостатка, я должен быть сильным, а вся сила идет от мяса. Она старалась все время мне мясо-мясо-мясо — утром, днем и вечером. Котлеты какие-то, а я говорил: «Не хочу, не хочу, не буду!» А потом, в какой-то момент, сказал: «Все! Вообще не буду. Никакого мяса вообще, ни утром, ни вечером, ни в каком виде. И с тех пор так и живу вегетарианцем.

Д. С.: Так и не едите?

И. Ш.: Были у меня периоды, когда я к этому возвращался, но я просто опыт такой ставил: «А что изменится?» Потом понял: мне это не надо совсем. До сих пор не ем. Но первоначально это был жест в пику маме.

## Дом на Старой площади. Война

Д.С.: Да, здорово! Скажите, вот вы говорили о своем житье-бытье в доме между ЦК и МК, расскажите поподробнее, что за люди там были. И вообще, как вам там жилось, чем бабушка занималась.

И.Ш.: Моей соседкой была известная поэтесса Белла Ахмадулина.

Д.С.: (Удивленно.) Да? Ничего себе!

И.Ш.: (Смеется.) Мы жили в одной квартире. Я так образно говорю, что мы с Беллой Ахмадулиной сидели на одном горшочке, но это не образ, это действительно так. Мы с двух — трех лет в одной квартире, играли, (еще были дети). Там вот в чем было дело: сначала как раз началась война, и квартира опустела напрочь. Мы остались вдвоем с бабушкой.

Д.С.: А вот это, кстати, интересно. Почему вы не уехали? Просто некуда?

И.Ш.: Дали распоряжение, что где-то в пять утра надо прийти на пристань на Москва-реке, там будет стоять катер, заберет всех жильцов нашего дома и отвезет куда-то там на Оке или где-то. Нам надо было взять с собой еду на три дня, минимум вещей, одежды и прийти в пять утра на пристань. Бабушка с вечера все собрала, завернула в какие-то (не было ведь ни рюкзаков, ни чемоданов) узелки, и потом вдруг на нее такой страх напал: куда она поедет, в неизвестные места, с маленьким ребенком, и как дальше, что там будет? И она решила: будь, что будет, но она останется. И она осталась, а вся квартира была пустая. Причем, в этом году отключили отопление, отключили электричество. Бабушка на хлеб выменяла на рынке железную печурку.

**” На паркет (у нас был паркет — это же была гостиница) клался металлический лист, потом печурка, труба выводилась в форточку — и вот так мы жили.**

На наше счастье, внизу, в подвале, была столярная мастерская, которая все годы войны обслуживала Кремль. Они там все время какую-то мебель мастерили, и бабушка за деньги покупала опилки. И вот мы с ней по черному ходу тащили по мешку опилок наверх и, таким образом, топили эту печурку. В квартире был какой-то хлам: старые шкафы... и бабушка все это тоже разломала и сожгла, чтобы хоть как-то согреться. У нас комната была покрашена масляной краской, там были очень красивые орнаменты восточные изображены. И вот я помню, все время по масляной краске текла вода, [стены леденели].

Д.С.: Конденсат.

И.Ш.: Да, выделялся конденсат. И в 43-м году разбомбили ЦК партии. Обычно мы (когда началась только война) спускались в убежище. Еще были люди в доме нашем, и вот как только объявлялась воздушная тревога и сирена начинала выть... Мы с бабушкой в начале войны купили специально, чтобы слушать эти сирены, на последние деньги купили репродуктор. Купили в ГУМе, тогда он (или какая-то его часть) еще работал. И вот начиналась тревога, начинался вой сирены, и весь дом по черному ходу спускался вниз, и там было очень хорошее бомбоубежище. Закручивались двери на какие-то замки. [И вот вдруг бомба попала в ЦК партии].

Сталин очень хорошо организовал защиту Кремля. Ни один самолет до Кремля, по-моему, не долетел,

и никаких бомбежек там не было.

**Д.С.:** Ну, там же был построен макет рядом, собственно, света не было.

**И.Ш.:** Да, вот я помню Большой Театр был закамуфлирован какими-то изображениями, как будто там были деревья, лес или что-то еще. Это я помню. Кстати, тогда ходил трамвай мимо Большого театра трамвай до зоопарка, по Никитской. Москва по-другому выглядела. А по улицам ходили, держали аэростаты за веревки человек пять—шесть, вели куда-то, к какому-то пункту, потом их там поднимали. Эти аэростаты загорали Кремль, так что к Кремлю самолеты не могли пролететь. И вдруг разбомбили ЦК партии, причем, что необычно — не было никакой тревоги. Обычно тревога — все бегут вниз. То есть если бы самолет чуть-чуть ошибся, то он бы мог наш дом разбомбить. А выглядело это так: мы с бабушкой поужинали, попили чаю. А комната была — длинный пенал, ну, гостиница...

**Д.С.:** У вас одна комната была?

**И.Ш.:** Одна комната двенадцать метров. Бабушка вымыла посуду, а я эту посуду несу в буфет в конце комнаты, чтобы на место поставить.



**И вдруг, как во время землетрясения, дом содрогнулся, стекла все выскочили у нас от взрывной волны, я уронил эту посуду и разбил.**

Причем стекла тогда еще клеились лентами, чтобы [не сразу выпасть]. У нас немного: форточка, еще сверху чуть-чуть стекло разбилось, потому что окна выходили во двор. А вот со стороны переулка — там больше гораздо было выбито стекло. Потом мы на следующее утро выходим и видим, что там уже все обнесено забором, [дом ЦК] горит, непонятно: то ли дым идет, то ли пар. Это примерно длилось неделю. Там мимо Ильинского скверика ходили трамваи, но эту неделю трамваи не ходили, все закрыли, и это все горело-горело, дымило, целую неделю примерно шел дым. Потом этот дом очень быстро восстановили (очевидно, сохранились чертежи), он точно такой же, что и был раньше, и причем, что интересно, работали немецкие пленные, а рядом ходили в полушубках автоматчики и охраняли их.

**Д.С.:** А как вы жили, вообще, вот эти пять лет? На что вы жили, что ели?

**И.Ш.:** Бабушка до пенсии своей работала в столовой. Эта столовая тоже была МК партии, она находилась вот где сейчас метро «Кузнецкий мост» примерно. И потом, когда она взяла меня, то вышла на пенсию.



Белла Ахмадулина

**Д.С.:** Она была поваром?

**И.Ш.:** Нет, не повар...

**Д.С.:** Администратор какой-то?

**И.Ш.:** Это называлось «зеленщица». Там было разделение по специальностям, вот она заведовала всей зеленью: укропом и прочее. И у нее там какие-то подружки остались, знакомые, и два раза [в начале войны] мы ходили туда, нам наливали по бидончику супа, маленькому.

**Д.С.:** А во время войны она уже не работала?

**И.Ш.:** Нет, не работала. Пенсия была, по-моему, девяносто два рубля.

**Д.С.:** А сколько ей собственно было лет тогда? Она давно была на пенсии?

**И.Ш.:** Как только меня взяла, так и вышла. А с кем меня оставлять? Ну, и по возрасту ей уже полагалась пенсия, то есть ей было тогда шестьдесят или шестьдесят пять...

**Д.С.:** Значит, вы жили на бабушкину пенсию?

**И.Ш.:** На бабушкину пенсию. Бабушка, как все тогда, получала карточки, хлебные и продуктовые. На хлебные карточки там сколько... четыреста грамм или полкило хлеба давалось, и на меня тоже была

карточка, я тоже что-то получал. Это потом, когда мы с матерью жили, было так: бабушка хлеб весь скапливала, потом туда привозила, мы там все съедали. А здесь, в Москве, хлебные карточки... Самая большая трагедия во время войны была — это потерять хлебные карточки. Просто люди кончали самоубийством, если теряли, потому что — не на что жить. Деньги ничего не значили, то есть на свою пенсию она могла купить полбуханки хлеба на рынке, спекулянты были, можно было... Но пенсия была минимальной, крошечной. И продуктовые карточки. Значит, были талоны на крупу (выбираешь: пшено, гречка тогда была еще, горох или еще что-то), на мясо... Но иногда [талоны] оставались не отоваренными (это [так] называлось), то есть не было в магазине. Магазин был [на] улице Разина, сейчас Варварка, тут же магазин был, рядом с домом.

” И интересно, что (я всем рассказываю, но все не понимают, как это могло быть) там были талоны на рыбу, а рыба не всегда была, и иногда, вместо рыбы, предлагали отовариться красной или, по-моему, даже черной икрой.

Но давали ее двадцать пять грамм [на месяц] вместо трехсот грамм трески. И все плевались: «Зачем эта икра, давайте рыбу». Люди не брали этой икры. Но это было, тогда еще какие-то промыслы действовали, и привозили, как-то распределяли. Вот так вот и жили, только за счет этих карточек. Никаких других возможностей не было. Потом, где-то в конце войны открылись какие-то (или даже после войны уже) коммерческие магазины они назывались. Там можно было купить, допустим, пол-литра молока по коммерческим ценам. Ну, у кого были деньги, те покупали, а у кого нет — так нет.

Д.С.: С ума сойти.

И.Ш.: Потом, значит, когда я поступил в школу, бабушка меня записала на одежду. Тоже были такие списки, в которые можно было записаться, мы ждали год или полтора, и потом мне дали ордер, по которому можно было пойти в магазин и купить пальто. Мы купили на вырост. У меня были длинные рукава, а потом наоборот — я его так долго носил, что руки выросли. У меня где-то есть фотография — там пальто это мне уже по локоть почти. Не в чем было ходить, одеваться. Ну, ничего не было. Может, на черном рынке где-то, но это все тоже разгоняли, все эти рынки, всех этих спекулянтов сажали.

Д.С.: А как вы жили, вообще, образ вашей жизни? Вы жили вдвоем с бабушкой, и все?

И.Ш.: Да, вдвоем с бабушкой.

Д.С.: А каков был мир вокруг?

И.Ш.: Детей не было, мне не с кем было играть. Только потом, когда все вернулись из эвакуации. Белла Ахмадулина вернулась...

Д.С.: (Смеется.) Евтушенко, Вознесенский...

И.Ш.: (Смеется.) Это намного позднее. Когда я был где-то в девятом классе (а Белла старше меня на год, и она уже заводила романы), когда я возвращался из школы, то старался так вот загородиться, не обращать внимания, а она целовалась с Евтушенко на подоконнике.

” Евтушенко, помню, ходил в нашу квартиру, так, пригнувшись (он ведь высокого роста).

А потом я где-то у него прочел такие стихи: «В большом красивом городе есть Площадь Ногина...». Дальше там про Беллу...

Да, так вот вернулась Белла и еще, по-моему, двое детей было. У кого-то был трехколесный велосипед,

и мы гоняли по этим коридорам. У Беллы отец был полковник (татарин), которого мы почти не видели, и мать такая блондинка с белыми пышными волосами, она работала переводчицей в Интуристе. Тогда это была привилегия, она общалась с иностранцами, и уровень жизни был другой. А напротив, я помню, была комната, в которой жил скрипач Большого театра с семьей большой. В следующей комнате жили грузины, семья грузин Иоселиани, очень-очень симпатичные... Да и вообще, все были симпатичные люди, никаких конфликтов не было.

” И длинный коридор «коленом» шел, как бы на две части квартиры, в каждой части был туалет, кухня, но никаких ванн... ни душа, ни ванн не было. Мылись все дома.

**Д.С.:** В комнате?

**И.Ш.:** Да, в комнате. Бабушка грела бак воды и [мне] голову мыла. Стирка шла на кухне. Никаких стиральных машин не было. Стоял большой бак, туда клали грязное белье, заливали воду (стиральный порошок еще не изобрели), брали кусок хозяйственного мыла и на терке его стругали, засыпали это струганное мыло и ставили на газ. В конце войны провели газ, до этого была печь с дровами. А потом провели газ, может быть, в 45–46-м году. Вот, значит, на газу кипятили бак, тут же рядом стояла кастрюля с борщом или сковородка с рыбой, и пары от этого газа и капли неслись в воздух. Тут же готовили, причем разные люди из разных комнат. Ну, а что можно было сделать? Так вот и жили.

**Д.С.:** Вы говорили, что у вас не было отопления, не было электричества. Наверно, это какую-нибудь одну зиму?

**И.Ш.:** Я не помню, одну или две зимы.

**Д.С.:** Даже две может быть?

**И.Ш.:** Да, даже две может. А потом, после 43-го года жизнь начала возвращаться. Вернулись эвакуированные...

**Д.С.:** А они начали возвращаться в 43-м или позже?

**И.Ш.:** Я думаю, началось с 43-го. Потом во дворе еще появились какие-то дети, а потом, после войны, все вернулись.

**Д.С.:** И [Белла] тоже жила, не уезжала из этой квартиры? Я пытаюсь понять, как долго у вас жизнь с Беллой Ахмадулиной была.

**И.Ш.:** Нет, ее не было. Так, подождите, сколько же нам?.. Если в 43-м, то мне было пять лет.

**Д.С.:** А ей шесть?

**И.Ш.:** А ей — шесть, да. Правда, я родился в 37-м, в самом конце года, в конце декабря.

**Д.С.:** И вот так, по-детски, вы с ней дружили, играли?

**И.Ш.:** Дружили. Вот мы сидим, играем, вдруг входит начитанная-начитанная Белла (она отличалась от нас), и так, я помню, вдохновенно говорит: «Давайте играть в бедных!» Она, по-моему, Андерсена прочла или еще что-то, а мы сидим как дураки, и ничего не понимаем: какие бедные? зачем играть в бедных? Уж если играть, то в богатых. Мы играли в богатых, вопросы задавались друг другу: «Ты сможешь съесть сто пирожных?» — «Смогу». — «А тысячу?» Мы-то как раз мечтали не о бедности.

**Д.С.:** А у Беллы семья была богатая?

**И.Ш.:** Ну, отец — полковник, мать — переводчица Интуриста, она из [относительно] богатой семьи. Мы поддерживали отношения. До двадцати пяти лет я жил в комнате в этой квартире. Потом мы как-то



разошлись. Естественно, разные интересы, Белла стала печататься в «Новом мире», я учился в художественном училище... Моя знакомая [по училищу] жила во дворе Литературного института, где когда-то работал дворником Андрей Платонов. Я ее провожал (а ее отец тоже был писателем), и там иногда встречал Беллу, она училась в Литературном институте на Тверском бульваре. По-моему, даже вопросы (она знала, что я уже художник, учусь в училище) задавала всякие художественные, в том числе: «А что ты скажешь: Глазунов хороший художник?» Я тогда говорю: «Да, да, хороший, Достоевского иллюстрирует».

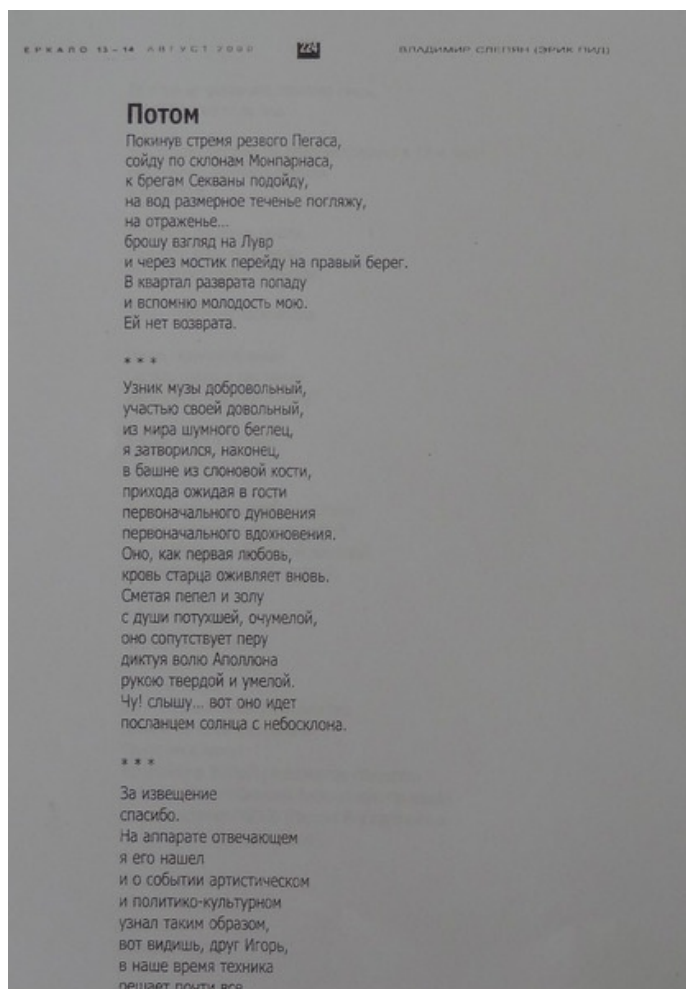
”

**Однажды она пригласила меня к себе в комнату и стала читать стихи довольно запоминающиеся... как она невинность теряла: «Босыми ногами по холодному полу...» Но меня-то уже она как бы не интересовала. Я авангардом и импрессионистами интересовался.**

Я ей сказал про Юлия Кима, что у меня тоже друг есть, поэт, на это она пренебрежительно: «Ну, поэтов сейчас много, все пишут», хотя потом они подружились с Юлием Кимом.

**Д.С.:** Но потом уже, во взрослом возрасте, вы с ней не общались?

**И.Ш.:** В последний раз я ее видел в Париже. Она приехала, был вернисаж выставки Штейнберга. Галерейщик Штейнберга Клод [Бернар] на вернисаже устраивал банкеты большие. И вот, он в соседнем ресторане устроил... ну, не банкет — фуршет. Там много публики назвал, и пришла Белла со своим мужем Мессерером. И вот, мы там встретились, она: «Как ты живешь? Вот пойдем, я тебя... (она уже напилась к тому времени) познакомлю с Целковым, где-то здесь Целков в толпе, он тебе все сделает». Я ей говорю: «Да я знаю Целкова, давно с ним знаком, может быть, гораздо больше, чем ты. С Целковым я с 56-го года через Слепяна еще познакомился. И чего сделать, я сам его печатаю в журнале! Что он может для меня сделать?» Ну, вот, такой разговор, вроде бы я ей объяснил. Потом еще движение толпы — опять мы с нею натыкаемся друг на друг. Она еще более окосевшая: «Пойдем, пойдем, я тебя с Целковым познакомлю. Он все для тебя сделает». Я говорю: «Да не надо знакомить». И чего-то я стал вспоминать (а рядом стоит Борис Мессерер), и вот вспомнил, как она с Женей Евтушенко целовалась в подъезде на подоконнике. И вдруг чувствую, что сказал какую-то ужасную вещь, и Мессерер сразу как-то натянулся, и Белла... Хмель прошел, и я понял, что не должен был говорить, какое-то преступление совершил.



Стихотворение Владимира Слепяна//Зеркало.2000. 13-14.

**Д.С.:** Ну, вот, я же говорю, что вы — компромат на Ахмадулину. (*Смеются.*)

**И.Ш.:** Мне жаль, что люди, с которыми я внутренне еще связан, и связь эта не потеряна, что поумирили многие. Мне очень хотелось записать эти мемуары и дать прочитать Белле. Она написала очень хорошо про [свою бабушку]. Рядом с ее комнатой была комната, где жила ее тетка, сестра ее матери, и бабушка, мать этих женщин. Тетка была художницей, и у нее вся комната была завешена этюдами. Так мне нравилось, когда она приглашала, смотреть эти картинки: пейзажики, портретики, пейзажики. Они были небольшого формата, но вся комната была [ими завешена]. Это для меня было как в Третьяковку сходить.

Кстати, вот первое посещение Третьяковки — меня туда повела мать. Она иногда приезжала из Малоярославца на один-два дня... Музея Пушкина тогда не было, там был музей подарков Сталину. А Третьяковка — необыкновенное было впечатление.

**Д.С.:** Это какой возраст примерно?

**И.Ш.:** Лет семь. И потом я сообразил, что это очень близко, и ходил сам. Перейти мост через Москва-реку и все. Это близко. <...> До войны мы жили... это называлось Третий дом Советов. Это Каляевская улица, Делегатская, где-то вот в этом районе.

**Д.С.:** Каляевская — это Дмитровка, да?

**И.Ш.:** Да, да, где-то около Садового кольца. Но этого я не помню, потому что я маленький совсем был.

Мы там жили в каком-то подвале. Единственное, что рассказывала мне бабушка, она куда-то ушла, а я побил яйца и стал их размазывать по стене, желтками и белками рисовать какую-то картину на стене. Она пришла, увидела это и хотела меня отшлепать, но я в это время говорил одну и ту же фразу: «Ну что тут будешь делать, ну, что тут будешь делать?!» (Смеясь). И ей стало так смешно, что она не стала меня ругать за это.

Ну, а потом пошел в школу, 46-й год. Я был отличником, первые годы, первые пять лет я учился на «отлично», все только пятерки. Ну, полный класс, тридцать пять — сорок человек было в то время. Причем тоже интересно, было две школы, была школа, которая ближе к дому, но меня туда не записали, а записали моего соседа, у которого отец был какой-то офицер или полковник. Руднев его фамилия была. Также интересные люди: семья Рудневых, но во время войны были только двое: старик и старуха, и оба — старые большевики, то есть у них было особое питание... А бабушка моя им прислуживала: ходила в магазины, еще что-то там. Они иногда как-то вознаграждали, делились продуктами... И вот я помню, как старуха Руднева заказала (я уже тогда что-то рисовал), мне картинку — дощечка для календаря. И я на какой-то фанерочке нарисовал пейзаж: месяц светит, какой-то колодец, изба, окна светятся... Ну, как мог, нарисовал, и она благородно предложила мне заплатить гонорар. Она мне дала на выбор яблоко или коробочку овсянки. Мне, конечно, жутко хотелось яблоко, но я подумал, что бабушка будет больше довольна, если я возьму овсянку. И я выбрал овсянку. А потом к ним вернулся их сын и внук. И этого мальчишку записали в ближнюю школу, а меня послали в 327 школу.

” Оказалось, что эта школа была для хулиганов. И там, действительно, бандитизм был жуткий, то есть там убивали, не просто, а с ножами шайки были — солянская шпана называлось. На второй год, смотрим, а кого-то уже нет в школе, и оказывается, что он уже в детском лагере, забрали.

Поножовщина была, ходили с какими-то финками... Вот Ивановский монастырь по дороге, это все НКВД принадлежало, там были пленные немцы, и автоматчики ходили вокруг. И вот пленные немцы делали ножечки с наборными ручками, они мастера, красивые наборные из пластмассы ручки, все очень элегантно было сделано, финочки маленькие. Вот ребята, меняли на хлеб. И кражи были, отнимали все, что угодно — бандитизм. Вот никто не верит, а ведь тогда вся Москва этими слухами [жила] — где кого ограбили, кого убили. Известная была история с артистом МХАТа...

**Д.С.:** Качаловым?

**И.Ш.:** Качаловым. Шел он после спектакля, к нему бандиты — снимай шубу. Он говорит: «Хорошо, я сниму, только дайте мне до дому дойти, потому что у меня завтра спектакль, иначе я простужусь». И, значит, шел с ними, разговаривал, разговаривал... А они к нему прониклись расположением и не стали его грабить. А про другого разбойника рассказывали, что был такой благородный разбойник, он женщин если раздевал (а раздевали до нижнего белья, потому что любая одежда это — деньги были), он снимал почти все, снимал обувь, всё, но давал дешевые тапочки, чтобы она могла дойти до дома. А часы! Снимали часы тут же, нельзя было выйти. Грабили всё. Вот то, что сейчас... даже смешно — ну кому нужны чужие ботинки или чужие штаны?! А тогда это тут же на рынок, перепродавалось. Нищета была.

” Никто не верит, но сталинское время — это жуткая нищета! При Хрущеве нация начала немножко подниматься. А при Сталине — это только пропаганда, оголтелая пропаганда шла.

Стройки коммунизм он придумал под конец, что, вот, надо лесозащитные полосы насажать, соединить Волгу и Дон каналом, или еще что-то, вот тогда мы заживем — будет коммунизм. А на самом деле голод,

нищета, обтрепанные все были, усталые, замученные ходили: ни отдыха, ничего не было. С другой стороны, да, была элита, была эта НКВД, то есть Сталин их отобрал: «Я не могу всех сделать счастливыми, вот этим я обеспечу, и они будут наводить порядок».

## Прогулки по Москве. Первый день войны

**Д.С.:** Вот вы сказали, что на все выходные уезжали к маме, а по Москве-то вы гуляли? В Ильинском сквере?

**И.Ш.:** Очень любил гулять.

**Д.С.:** На речку...

**И.Ш.:** На речку. С бабушкой мы все время любили гулять по набережной Москва- реки, вокруг Кремля. Я помню, как я увидел художника. Это был зимний день.... И художник (конечно, какой-то член МОСХа, официальный, может быть, Иогансон какой-нибудь, потому что надо было разрешение иметь), он писал этюд с храма Василия Блаженного. И этюдник стоял просто так, около ГУМа. Тут же, конечно, рядом стоял милиционер и наблюдал, что он пишет. Мы с бабушкой подошли, я остановился и стал наблюдать за ним. А он в красочку кисточку мокнет, сделает мазок... А еще краски-то такие яркие: малиновая, зеленая... И так точно у него получается храм Василия Блаженного, просто изумительно! Приятно было смотреть.

**Д.С.:** Это первое столкновение с живописью было?

**И.Ш.:** Может быть. И бабушка говорила: «Вот, там, в Кремле, Сталин живет, он думает о всех нас!» Бабушка тоже была членом партии, у меня никаких антисоветских мыслей не было и быть не могло, я был счастлив. Мне было не с чем сравнивать. Если бы я знал, что я мог вести другую, более сытую, более комфортную жизнь, то, может быть, я был бы несчастен, а так — нет, все воспринималось как должное. Ну, да... война идет тем более, всем плохо, всем трудно.

Я помню очень хорошо и первый день войны, и последний день. Первый день войны: я в кровати, бабушка меня одевает... Тогда одевались чулки, даже мальчишкам, чулки с такими застежками, чтобы они держались. Бабушка одевает мне эти чулки, что-то они не застегиваются — вдруг соседка вбегает в панике, стучит в дверь: «Война, война, идите радио слушать!» А у нас еще не было радио, мы потом его только купили. И бабушка бросает меня, чулки еще не одеты и бежит слушать какое-то радио. Ну, что там может быть по радио?! Потом приходит, говорит: «Ой, война началась!» А я еще слова не знаю, что такое война, не было в разговорах этого слова, только потом мне объяснили, что такое война. Это первый день войны.

А потом начались бомбежки, потом мы пошли и купили бумажный репродуктор в сеть, тогда была сеть по всему дому. И всю войну я слушал сводки Информбюро, голос Левитана. Я слышал все с первых же передач: про Зою Космодемьянскую, про Александра Матросова, про то-то, про то-то, про всех этих героев. А потом был перелом в войне: взят Киев, взят Будапешт, взята София... Тут же салюты, тут же аэростат поднимался — там большой портрет Сталина, на него прожектора. Но, может, это уже к концу войны.

**Д.С.:** А вывешивался [где]?

**И.Ш.:** В Зарядье. Там был пустырь, то есть не пустырь, а старый московский район. Там была детская библиотека. Я туда бегал книжки читать. Там было много кривых красивых улиц, как в Париже на Монмартре, старые, из XIX века еще. А потом их все разнесли и стали строить высотный дом.

**Д.С.:** Да-да-да.

**И.Ш.:** Достроили до четырнадцатого этажа.

**Д.С.:** Да, Наркомтяж. До четырнадцатого даже?

**И.Ш.:** Да, но только из балок.

**Д.С.:** А потом снесли.

**И.Ш.:** Кстати, я тогда в газетах читал, что он будет облицован красным искусственным мрамором. Потом Сталин умер, и всё разобрали.

**Д.С.:** И свезли в Лужники.

**И.Ш.:** Да, наверно, а там остался только цоколь, и на этом цоколе стояла гостиница «Россия». Мы, мальчишки, бегали смотреть, как строился котлован.

”

**Котлован вручную, лопатами кидали на ярус выше, потом на ярус еще... и вот так постепенно рылся этот котлован. Машин не было еще тогда.**

**Д.С.:** Тоже, наверное, заключенные рыли?

**И.Ш.:** Да, это все заключенные делали. И тут же охранники с автоматами стояли. А мы бегали... мальчишки интересовались, наблюдали эту картину и спорили, у кого из землекопов мускулы больше: «Смотри, какие у этого! А у этого еще больше!» Нам нравились, что вот такие бицепсы. Мальчишеская мечта — иметь сильные бицепсы.

И последний день войны — на Красной площади, я пошел. Помню прожектора, и все кидали монеты. Не жалко было денег. Под свет прожекторов они осыпаются фейерверком. Потом Красная Площадь была засыпана монетами.

**Д.С.:** Вы, наверно, потом ходили с мальчишками собирать?

**И.Ш.:** Вот надо было ходить собирать. Был такой счастливый для всех день. День победы — никаких сомнений, объявили официально, что, наконец, это бремя [кончилось]. А потом началась жизнь, ничем не лучше. Потом я пошел в школу, там уже появились приятели и все по-другому стало.



Игорь Шелковский. Стоящий, 2005.

**Д.С.:** А где еще гуляли по Москве? Просто интересно, настолько же сейчас все изменилось, по сравнению с вашим детством. То есть в Китай-городе никто не живет. Я помню, когда я десять лет назад учился, гулял, там у меня жили даже старички некоторые еще, на Никольской улице... Вот как раз, наверное, примерно лет десять назад. Сейчас в районе Китай-города не живет никто, за китайгородской стеной.

**И.Ш.:** Да-да. Там нет жилых домов

**Д.С.:** Жилых домов нет.

**И.Ш.:** А что там? Учреждения?

**Д.С.:** Учреждения. Там построили какой-то элитный дом, но, по-моему, он не заселен и не доделан.

**И.Ш.:** Нет, тогда вся улица Разина — это было очень много жилых домов. И учреждения тоже там были, например, большое здание Главсевморпути, потом какие-то министерства. В конце там была Библиотека иностранной литературы, ближе к Красной Площади. Я не знаю, сейчас осталось что-то? Там церковь реставрировали. Библиотека была чуть ли не до 60-х годов, по-моему. Вся площадь Ногина тогда называлась — Варварская, или как?

**Д.С.:** Ну, Ильинский сквер. Это и есть площадь Ногина.

**И.Ш.:** Тогда это называлось «Площадь Ногина», и там жили наши ученики. Потом Солянка, вот большой доходный дом, серого цвета, он целый квартал занимает, там половина класса примерно жила. Потом, по всем этим переулкам, собственно, только и были жилые дома. Коммунальные квартиры — вот в чем дело, маленькие квартирки, три комнаты — три семьи. Одна кухонька, один какой-нибудь худой туалет. Вот так вот и жили все.

## Смерть Сталина

**Д.С.:** А в мавзолее вы ходили?

**И.Ш.:** Да.

**Д.С.:** Помните?

**И.Ш.:** Два раза, и оба раза со школой. В первый раз, когда лежал только Ленин, один раз ходил на парад и видел на мавзолее Сталина. Ну, это было издаleка. Он отличался радужным сиянием, потому что у него там красное, голубое — мундир-то у него был шикарный после войны, форма [генералиссимуса]. И один раз видел Сталина в гробу. Сталин уже был в мавзолее: Ленин и Сталин. Тоже нас повели, и запечатлелось, что у него очень рябое лицо было, и что вот эти усики, они какие-то рыжеватые и очень редкие были. Усы и волосы. Кстати, когда был XIX съезд партии, я помню, смотрел в кинотеатре «Ударник», какой-то фильм шел, а перед кино обычно показывали журнал. И вот показывали журнал про XIX съезд партии, и показали вдруг крупно Сталина, и там видно было, что его зачес этот знаменитый... что он лысеет и что у него просто череп видно через волосы. Издаleка еще форма держится, а вблизи все просвечивает. Никакой критики еще у меня не было по отношению к Сталину, наоборот... Вот я тогда подумал, что он скоро помрет. И, действительно, через несколько месяцев помер. И, помню, мы с моим приятелем с этой Солянки, с улицы Солянки, мы все это обсуждали тогда. И было только любопытство: «Что будет дальше?». Интересно. Наконец, какие-то изменения произойдут, а то все глухо было, монотонно, тоскливо, а тут вдруг какое-то событие. Что же будет дальше?

” Взрослые люди, какие-то старухи, они чуть ли не рыдали, что «теперь на нас Америка нападет. Сталин умер — они воспользуются этим». Я помню такие разговоры.

**Д.С.:** Буквально?

**И.Ш.:** Серьезно. Буквально, да. Ну, темные, что называется, люди, они буквально [рыдали]. Другие тоже переживали: «А что же теперь будет?!» — даже те, кто вполне мог быть просвещенным. Паника какая-то была: что ждать. А у нас было мальчишеское любопытство — очень интересно. В школе был один преподаватель. Он — вылитый Максим Горький был, с палкой, с усами, высокого роста и очень сутулый. Он сначала преподавал школьникам, но потом стал старым, ему трудно было с молодыми, и его перевели в вечернюю школу. Там была [еще] вечерняя школа. Но, тем не менее, он весь день ходил по школе, принимал какое-то участие во всех мероприятиях... И тут умер Сталин — траурный митинг, актовъй зал, все битком забито, учительницы все плачут, с платками, сморкаются... И он выходит на трибуну и он, оказывается, был на Красной Площади, рассказывает свои впечатления: «Я подошел к гробу, наклонился и запечатлел его в своих глазах. Он — великий, гений человечества...». И все рыдают, преподавательницы особенно, пожилые, библиотечарши все в слезах.

**Д.С.:** Вот как интересно — коллективное помешательство.

**И.Ш.:** Да, да... Потом, помню, уже через несколько месяцев приходит наша учительница истории, бросает... у нее был такой жест, она бросает журнал на стол и говорит: «Вот теперь Берия, он во всем разберется! Уже врачей освобождают!» Теперь Берия, Берия, Берия... А до этого тоже, еще при Сталине, та же учительница истории приходит, таким же жестом кидает журнал, и... обсуждается внеурочная тема, не Иван Грозный, не еще кто-то, а свободный разговор с классом. Тема обсуждается: «Можно ли доверять сыну человека репрессированного?». «Вот что ты думаешь, Кузнецов? А что ты думаешь, Петров?». Все высказываются, и общее мнение, что нет, конечно, нельзя доверять, потому что отец мог быть хорошим семьянином, этот мальчик как бы должен уважать отца, и если у него создается такая ситуация, в которой придется делать выбор между чувством долга по отношению к государству и чувством долга к родному отцу, то он может вдруг изменить государству. Поэтому, доверять нельзя. А потом я узнал, что у половины... отцы сидели...

**Д.С.:** А вы понимали, что вы — сын репрессированного?

**И.Ш.:** В это время уже понимал, конечно, но молчал, не говорил, не участвовал. Но понимал, да. То есть это понималось как стыдная болезнь какая-то. «Вы не виноваты, но тем не менее это так». Я потом понимал, что я не виноват, но об этом нельзя говорить, это надо скрывать. И до сих пор: я пошел какие-то реабилитационные справки получать, а начальник и говорит: «А за что отца-то посадили, небось, писал что-то не то?» И как им объяснить?! Люди не понимают, что людей сажали ни за что. [Они думают]: если посадили, значит, все-таки что-то было. И не объяснишь им.

## Парады и футбол

**Д.С.:** Вы помните парады? Наверное, ходили?

**И.Ш.:** Да, на самих-то парадах я не был, потому что они на Красной Площади, но...

**Д.С.:** А вот, кстати, вы жили рядом, вы имели возможность дойти туда, что-то посмотреть? Нет?

**И.Ш.:** Трудно было. Там дворами можно было, но все равно ловили. Все оцеплялось. Там несколько барьеров было до Красной Площади, милиция. Нет, все оцеплялось обычно. Хотя, какие-то мои знакомые мальчишки как-то проникали, ухитрялись, какими-то чердаками перебежали.

**Д.С.:** (Смеется.) Ну понятно, свой интерес.

**И.Ш.:** На Красную Площадь я не мог попасть, но до парада или после, все скапливались на Площади Ногина, то есть все эти танки, я помню, пушки... Мы ходили среди них и все это смотрели. А потом обычно после парада шла демонстрация. Тоже все с флагами, с портретами, с шариками, всякими пищалками — все это собиралось у нас. Там были такие мячики, помню, женщина продавала и кричала: «Детская

забавная игрушка! Детская забавная игрушка!». Вся Площадь Ногина кипела народом и всякой техникой. Да, а самое-то замечательное, что оркестры там стояли. Вот эти оркестры, которые спускались с Красной Площади, становились где-то на Площади Ногина и продолжали играть.

” Самое большое удовольствие было стоять около барабана, который вовсю барабанит, и прямо передается, физически, движение воздуха. Я очень люблю духовые оркестры.

А ходить по Москве я и тогда любил, и сейчас, до сих пор, люблю. В любые районы, особенно в незнакомые. Я помню [маленьким], как-то пошел мимо Большого Театра, мимо Манежа и дошел до Арбата. И потом своему школьному приятелю говорю: «А ты знаешь, я до Арбата дошел за двадцать минут». А он и говорит: «Да ты врешь, так не может быть». Я говорю: «Давай проверим». И мы от Ильинских ворот до Арбата действительно дошли примерно за двадцать минут. И я для себя открывал эти районы, переулки, улицы, Москва-реку...

Д.С.: А, кстати, не рыбачили тогда на Москва-реке?

И.Ш.: Да она уже грязная была.

Д.С.: Уже грязная?

И.Ш.: Хотя иногда там мог кто-то стоять, но ничего не ловилось. Ходили играть в футбол — двор с двором. Пустырей-то мало было. Где-то один был пустырь, от Площади Ногина, там, где церковь, пройти, там было место, где можно было играть в футбол. Мяч не всегда был, тогда какой-нибудь консервной банкой играли. Ботинки разбивали, родители ругались ужасно, что обувь портим.

Д.С.: Машин-то не было, мало было в центре.

И.Ш.: Да, машин было мало.

” Я помню, мы играли у нас в переулке, и вдруг едет машина, а мяч остался посередине. И этот шофер, он нарочно подруливает, наезжает на этот мяч, мяч — кляк! Всё!

А он проезжает дальше. Как мы его частили. Не было, не помню никаких спортивных залов. А вообще, приятный момент из детства: я потом стал ходить в Дом пионеров. Вернее, сначала не Дом пионеров, а ЦДДЖ — Центральный дом детей железнодорожников.

Д.С.: А это где было?

И.Ш.: Это был большой особняк на Новой Басманной улице. Старый особняк, шикарный, внутри весь расписанный, в каких-то драгоценных камнях отделанный. Поскольку мать работала в детском саду, который принадлежал железной дороге.

Д.С.: Это уже после того, как мать вернулась?

И.Ш.: Да, это уже в возрасте десяти-одиннадцати лет, когда уже мать вернулась. А я учился в школе и хотел рисовать. У меня был приятель в классе, его отец был директором этого дома — ЦДДЖ, он меня туда послал, и я стал ходить в кружок рисования. Довольно долго я там занимался. Учился рисовать акварелью, карандашом, маслом немножко... Много лет там провел. Обычно, я туда ходил пешком через... сейчас Мясницкая называется, раньше она называлась Кировская, мимо дома Корбюзье, потом Красные ворота и уже Новая Басманная. Ходить любил пешком, всегда любил, и сейчас люблю, по Москве.



## Культурные впечатления

**Д.С.:** А вот, условно говоря, столкновение с культурой, то есть что читать начали, что смотреть начали, что слушать?

**И.Ш.:** Ну, что можно было слушать кроме радио? Ничего. Только радио. А по радио передавали классическую музыку (Бородина, Чайковского все время передавали), и очень много было советских песен, ну, про Сталина, конечно. Потом выставки. Я когда понял, что в Третьяковку могу пойти пешком, я с удовольствием туда стал ходить. Там каждый год устраивали отчетную выставку Союза художников, обычно на первом этаже. Всю экспозицию убирали и развешивали эти выставки. Я стал на них ходить тоже, и помню, что ужасно мне это не нравилось, этот соцреализм, вот не нравилось — и всё тут, вся эта казенщина. Ну, там и были-то, в основном, «Съезд Стахановцев» или «Прием у Сталина» таких-то, таких-то.

**Д.С.:** А почему, вообще, возникло это желание пойти в Третьяковку, а не мяч гонять?

**И.Ш.:** Ну, в первый раз меня повела мама просто как культпросвет такой, познакомить. А потом я понял, что вот это — мой мир: картины в золотых рамах, картины можно рассматривать... Там жизнь людей, которые жили в XIX веке или раньше. Они были другими, чем мы. Вот «Портрет незнакомки», или какая-то жанровая сцена, или «Сватовство майора», или левитановские пейзажи, или Шишкин... Очень любил Шишкина. Я в кружке рисования сделал доклад о Шишкине, обложился литературой, сделал выписки. Меня очень хвалили за этот доклад. То есть искренне любил передвижников, всех передвижников: Ярошенко «Всюду жизнь», Репина «Крестный ход в Курской губернии» или «Девочка на качелях». Все очень любил: Серова, Сурикова — ну, как же Сурикова не любить!

” И, сам по себе, это — другой мир. После нищеты вдруг попасть туда, где золоченые рамы, бархат свисает, рисунки под шелковым покрывалом, надо было раскрывать, паркет...

То сама атмосфера другая, не то, что наш вонючий двор и наша поганая квартира.

**Д.С.:** А друзья у вас были вокруг, в детстве?

**И.Ш.:** В школе появились приятели. Но тогда не было учебников, и один учебник приходился на трех человек. Давали домашнее задание, какие-то задачки, надо было их сделать, решить и передать этот учебник другому, тот тоже решал и передавал третьему. А мой напарник, он жил в этом же дворе, и окна вот так вот — диаметрально как бы, по разным стенам, и мы придумали: я приделал катушку на подоконнике, и он приделал катушку, мы протянули веревки, и можно было привязать этот учебник и вот так вот перетянуть к его окну. Так, со скрипом, эти катушки шли. Потом, кто-то на нас ругался: «Чего вы там шумите!» До этого он спускал вниз веревку, я там внизу привязывал, а тут мы прямо сделали...

**Д.С.:** (Смеется.) Здорово!

**И.Ш.:** И много играли в футбол. Потом где-то к пятому классу я доигрался до того, что у меня начался туберкулез.

**Д.С.:** Костей?

**И.Ш.:** Легких. Жрать было нечего, а бегали мы, как сумасшедшие, каждый день, каждый день до усталости и до потери сознания. До наступления темноты мы играли в футбол. И потом вдруг в школе медосмотр, и у меня на коленках нашли какие-то темные пятна, а это — признак туберкулеза. Ну, рентген, то, се, и меня направили в детский санаторий.



И это были блаженных два месяца, потому что там хорошо кормили. Там наутро давали белый хлеб с изюмом, а это — что-то неслыханное.

Ну, вообще, хорошо кормили... Там молоко можно было пить... вылечили всё.

Вот все говорят: «Что, при Сталине, ничего не было положительного?» Да было положительное, потому что были люди и была какая-то помощь, и были хорошие врачи, очень бескорыстные врачи. Я не знаю как сейчас, потому что сейчас-то я не хожу... А тогда, действительно, очень серьезно я это чувствовал, и было очень приятно. И преподаватели были в школе хорошие, то есть почти все, я никого не могу вспомнить отрицательного. Директор школы: единственное, в чем его вина — у него был жутко свирепый вид. Его фамилия была Чеповой. Он был высокого роста, с усами, после войны он ходил в шинели... вылитый Сталин. Одну руку за борт запихивал... Его любимое занятие было на перемене выйти где-то там, в конце коридора, у своего кабинета встать, засунуть руку за шинель и наблюдать что происходит. И я помню такую сцену: бежит какой-то первоклашка (мы-то уже постарше были, опытные, а этот маленький), бежит, бежит, бежит, и не видит, куда он бежит, и прямо головой в живот этому Чеповому... Тот его хватает за шкуру, поднимает на уровень своего роста, несет (там открытая дверь в его кабинет), и вот так шмякает в черный диван: «Завтра приведешь родителей!» Его боялись, хотя вроде фактов, вот, кроме этого, я и вспомнить не могу. Но потом говорили, что наоборот, он покровительствовал учителям с еврейской фамилией. Их должны были выгнать из школы, а он их защищал. Вот этого старого учителя, похожего на Максима Горького, он тоже держал в школе. И в школе у меня появилась дружба с нашим учителем рисования.

**Д.С.:** Давайте тогда эту историю отложим на следующий раз.